

К.М.Станюкович. Собрание сочинений в 10 томах. Том 1. //Правда,
Москва, 1977
FB2: Vitmaier, 2008-05-22, version 1.0
UUID: 5b8f99b6-7fb4-102b-9c90-12cbc7843eac
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Константин Михайлович Станюкович

От Бреста до Мадеры
(«Морские рассказы»)

**Константин Михайлович
Станюкович
ОТ БРЕСТА ДО МАДЕРЫ**

Птицею райскою засвистал в дудку боцман Никитич. Ревмя заревел он: «пошел все наверх на якорь становиться!» – мимоходом стеганул раза два легонько линьком закопавшегося молодого матроса Гаврилку и полетел реи править.

Повыскакали матросы смотреть, в какой это такой город входит корвет. Рады они были всякому городу. Пора стояла дождливая, осенняя; окачиваться холодно, а тело расчесалось – бани требует. Ну и опять же, верно, порт и не без кабаков, и не без тех кралей, что пленяют так матроса за границей и которой несет он, – если уж краля очень вальяжна, – всю свою наличную денежную заслугу.

«На ж тебе, мол, басурманская ты душа... Знай ты русского матроса и ндраву его не препятствуй».

И какая-нибудь Жюли или Матильда нраву матросскому не препятствует, исправно обирает его разгулявшегося и ведет с ним беседу деликатную, и так ведет (на то она и француженка), что и матрос беседу ее понимать может.

– Обходительна очень, – говорит после

молодой матрос Гаврила у себя на корвете, – и бестья ж эта, я вам, братцы, скажу, французинька... Так вот тебе и чешет по-нашему, так и чешет... «Рус, говорит, люблю; рус, говорит, бон». Ну и опять же: ласкова, шельма, знает, как тебя ублажить.

Слушают ребята эти лясы и одобрительно ухмыляются.

– Гличанки – те варварки, горды, – замечает пожилой марсовой Андреев, – морду от нашего брата воротят.

– Чистоту, Кирилыч, любят. Ономясь, я вам скажу, Фокина по роже съездила одна гличанка-то... «Зачем, говорит, нетверезое ты экое рыло, целоваться, мол, лезешь!» То-то, ребята сказывали, смеху было.

Разбрелись матросы по палубе и глядят да поглядывают на скалы, между которых тихим ходом идет корвет.

Невесело что-то подходили мы к рейду. Стоял пасмурный осенний день. Мелкий назойливый дождь мочил немилосердно, словом, погода вполне подходила к неприветливым серым скалам с рассеянными на них батареями, где мерно шагали по эспланадам [1]

закутаннные в серые плащи часовые.

Корвет входил в Брест [2].

– Чтой-то за город будет, братцы? – спрашивают друг у друга матросы, – гличанский или хранцузский?

– Кто его знает, братцы, какой он такой.

– Это Брест-город, – говорит кто-то, – хранцузского королевства порт. Веселый, ребята, порт. Я был там, как на «Баяне» ходили, кабаков-те... Кабаков-те сколько...

– А скажи, брат, бани там есть? – спрашивает Гаврила.

– Бани-то? Бань нету.

– Штоб им пусто было! И видно нехристей. Нигде этто бань нету. В Киле [3] не было... И опять в Бревзене [4] не было, и теперче нету. И што ты станешь делать? С Кронштата не мымшишь. Поди, так и насекомая заведется.

– Звестно она в грязи живет, – замечают матросы.

– Так как же быть, братцы?

– Ваннные есть в Бресте, помыться можно.

– Што с нее толку! В ванной не пропреешь. Одна слава – мытье... Ребята ходили в эти ваннные, сказывали, что дрянно.

– Ну, Гаврилка, теперича ты бань нигде не увидишь, все пойдут ванные.

– Ишь ты!..

– А то станет жар, и такой, братец ты мой, жар, што ты места не найдешь, ровно пекло пойдет, а в воде кит-рыба и акулье плавают, дай только подальше зайтить. И хоша окачиваться станешь, все без толку, потом) вода там горяча, в тропиках-то, – объясняет Кирилыч.

– Это город значит такой, Тропики?

– Это страна такая... ну и зовется по-ихнему тропиками...

Разговаривающие замолкли... Мимо проходил офицер...

– Так в Бресте бань нету? – немного погодя снова начал Гаврила.

– Ишь пристал... Сказывают – ванные...

– Ну тебя с богом, с ванными!

– Гляди, братцы, кораблей-то сколько!..

– А и так... вона и город!..

– На контра-брас на правую! – рявкнул в это время Никитич и кстати обозвался.

Разговоры на баке прекратились. Матросы молча трекали снасть...

Рейд начал открываться. Корвет прибавил ходу, на нем выправили реи, чтобы в чужие люди показаться, как следует военному судну, и, пройдя между французскими кораблями, кинул якорь.

Город виднелся вдали... Как матросы были рады городу, так и офицеры были ему рады... И если матросы так настойчиво допрашивали: «есть ли в Бресте бани», – то этот вопрос мог, по совести, считаться более важным (ибо решен вопрос чистоплотности), чем те, которыми офицеры осыпали товарища, бывшего прежде в Бресте...

– Что, какая лучшая в Бресте гостиница?

– Бильярды с лузами есть?..

– А насчет дам, каково оно?..

Таковыми вопросами закидывали лейтенанта Ивана Ивановича, который поспешил дать самые точные и удовлетворительные ответы...

Все пошли собираться в город и облачаться в статские костюмы... И уж на каких же чуцел многие были похожи в статском платье! Известно, военный человек в нем на первый раз неловок, не в своем виде. Привык он и

признаков белья не показывать из-за галстука, а тут надо жако [5] разные выставлять... Ну, конечно, с непривычки трудно!

Пока одевались, в кают-компании собрались прачки – всегдашние первые гости – и уж шумели там препорядочно. Все хлынули из кают посмотреть на прачек. Многим желательно было увидеть молодых, чистеньких гризеток, но все сильно ошиблись, увидев вместо молодости и красоты – старость и неблагообразие крикливых бретенок, которые и говорили таким ломаным французским языком, что понять было трудно.

Старые тетки эти словно на лицах господ офицеров прочли, что многие не таких прачек ожидали... Одна из них мигом выбежала наверх и скоро привела молодую, не совсем некрасивую девушку, очень мило одетую, которая и не замедлила, лукаво улыбаясь, упрашивать отдать белье своей патронше... Но другие старухи тем временем не дремали и многозначительно совали в руки удостоверения от господ русских офицеров, прежде посещавших Брест. Некоторые удостоверения, писанные по-русски, не лишены были катего-

ричности.

«Такая-то моет хорошо, но в срок не привозит белья... Не отдавайте ей мыть, господа... Она, вдобавок, морда!»

Был и такой сертификат [6]:

«К старой карге можно обращаться по разным делам, в коих россиянину в чужом городе может встретиться надобность. Берет за мытье дорого, но у нее прачки молоденькие».

Одна рекомендация гласила:

«Господа, *madame Girnaux* хоть моет белье отвратительно, но советуем отдавать ей мыть, ибо в награду за дурно вымытое белье вы познакомитесь с ее племянницей, хорошенькой Мери (19 лет), брюнеткой, с голубыми глазами, но без рекомендации своей тетушки ни с кем не знакомится».

Надо признаться, что на последний сертификат изловилось большинство публики, и надо было видеть, с каким злорадством другие прачки смотрели на госпожу *Girnaux*, веселую, довольную, уносившую один за другим большие узлы с грязным бельем.

И хотя мамзель Клара – живой сертификат – и строила милые гримаски, но все же не

могла набрать столько белья, сколько набрала тетка Girnaux.

– Разве отдать Кларе белье? – говорит один офицер другому.

– Бросьте... Точно не видите?.. Чисто кош-ка.

И сомневающийся мичман решительно приказывает вестовому отдать белье Girnaux, а та приглашает к себе и объясняет, что ее племянница...

– О, это чудное создание... ее знают все ва-ши офицеры.

Вот и портные приехали; суют в руки свои карточки, друг перед другом выхваляют свою умелость и берутся все шить, что ни по-требуется, и скоро, и дешево, и хорошо...

Толкотня в кают-компании страшная. Шум невыносимый... В одном углу Антон Антоныч все допытывает у Клары, сколько ей лет... Клара говорит, что семнадцать, но Антон Антоныч утверждает (и совершенно справедливо), что она врет, но Клара уверяет, что она не врет, что она не стара... молода...

Тут кто-то с портным торгуется, и торгующийся входит в азарт; а у каюты вестовой

Ворсунька ругает m-me Girnaux за то, что она по-русски считать не умеет.

– Ведьма французская... Ну, считай!.. Одна рубаха, две... три... четыре... пять...

И бретонка, ровно попугай, повторяет: «одна рубак... две... тьри... читырь»... но потом сбивается, продолжает: «сinq, six...». [7]

– Опять загалдела по-собачьи... Ишь бормочет... и не понять... Уж вы, ваше благородие, – обращается Ворсунька к своему барину, – с меня не извольте опосля спрашивать... Я поихнему считать не умею... Може, белья не достанет... я не ответчик...

И у матросов на палубе тоже возня... И там прачки суетятся. У кого из ребят завелся лишний франк, который он прогулять не рассчитывает, – тот отдает мыть свое бельишко.

И тут есть – и помоложе и попрigoжей других – прачка Жюли, с которой ребята уже свели знакомство и которую по-дружески зовут Жюлькой.

– Ты теперича, Жюлька, – говорит марсовой Григорьев, хватая шершавой, смолистой пятерней узенькую талию быстроглазой, востроносой Жюли, – белье-то вымой хоро-

шо... Да портки чище... Ишь пропрели-то как, – сует он Жюли в руки свои потемневшие от грязи портки... – Смотри, Жюлька, чтобы было бон!..

– O monsieur... soyez sur... Un franc la douzaine... [8]

– Да уж я знаю, был у вас... Один франок дюжина... Валяй!.. Славная, братец, энта Жюлька, – обращается Григорьев к подошедшему матросу...

– Шельма! одно слово...

– Ты заштопай, тетка... Мыть берешься и заштопай... понимаешь?.. и рубаху почини... И штаны тоже заштопай... потому деньги не дарма платить...

Так в другом углу втолковывал старой бретонке один матрос.

Прачка ничего не понимала и только говорила: – Oui, Oui!.. [9]

– Не понимаешь опять?.. Говорю, зачини-от белье... Иглой значит...

И Макаров взял свои просмоленные штаны и, ткнув пальцем в дыру, показывает, что эту дыру зачинить надо.

Бретонка начинает понимать и говорит:

encore un demi franc... [10]

– Значит, полфранка еще, – переводит проходящий мимо фельдшер.

– Бога ты не боишься... Пол-франока!.. Ступай, тетя, отколева пришла... другой отдам...

И Макаров хочет взять белье назад.

Бретонка наконец соглашается.

– Ишь аспидка этакая!.. подавай ей полфранока, как же, – ворчит, уходя, матрос.

– Иван Абрамыч... подите-ка сюда, – зовет фельдшера боцман Никитич... – Что это она говорит, будто бы и невдомек?..

Фельдшер подходит и кое-как объясняется с прачкой.

А ребята дивуются, на него глядя, как это он так по-ихнему хорошо знает...

– Одно слово жид... жид всякой язык знает, – говорят про него.

У рундука стоит матрос, по прозвищу «Левка-разбойник», получивший эту кличку за буйства, которые он производит во хмелю...

Оригинален был Левка. Он и с виду на разбойника походил... Рыжий, с изрытым от оспы, вечно суровым, задумчивым лицом, на

котором, по выражению остряков-матросов, «черти в свайку играли», – он далеко не казист, но его глаза, – славные, большие черные глаза, угрюмо глядящие исподлобья, иногда поражавшие своим блеском, когда он вдруг на кого-нибудь их вскидывал, – выкупали неблагообразие его лица и придавали ему какое-то мрачно-красивое выражение.

Леонтий Рябкин стоял в раздумье перед несколькими штукаами грязного белья, держа в руках четыре серебряные монеты.

– Один франк, – угрюмо рассуждал он, взяв монету из одной руки в другую, – пропью... Другой франк... тоже пропью... Третий... не... (тут Леонтий ухмыльнулся)... Рази белье помыть на четвертый?.. – Леонтий на белье взглянул... – Ну его... белье... сам вымою... И четвертый пропью! – вдруг решил Рябкин, собрал белье в кучу, сунул его в рундук и опустил свои четыре франка в карман штанов.

Скоро все отправились на катере в город... Приехали, конечно, и офицеры прямо в ресторан...

– Обедать!

– Рюмку водки!

– Пива!

– Омаров!

– Господа, давайте лучше сообща... платить легче...

– Давайте!

Гарсоны едва успевают подавать и, верно, глядя на нас, полагают, что мы суток трое не ели, ибо с такою алчностью мы уписывали все, что ни попадалось.

На том столе, где мы обедали, через полчаса явился пепел... пятна от пролитого пива и вина... Болтали и шумели мы так, что из соседней комнаты с удивлением выглянули на нас два французика, но, увидев нас, сейчас же скрылись.

– Господа! – вскрикнул кто-то, – господа... Нас обозвали эти французы...

– Полноте! – вмешиваются все разом. – Никак они нас не обзывали...

– А все бы их надо разнести!..

– Тише... господа... тише...

– Что ж омаров не дают? – кричат с одного конца, – омаров!!!

– Monsieur? – подлетает гарсон...

– Омаров!

Несут и омары...

В это время являются какие-то два французские поручика и любезно раскланиваются. Один из них заявляет, что они, узнав, что русские офицеры – эти храбрые русские – здесь, возгорели желанием познакомиться – «тем более, – продолжает оратор, – что Франция и Россия... о!.. эти две великие нации чувствуют друг к другу симпатию... В Крыму мы были враги по необходимости, но друзья по принципу».

Они наговорили много комплиментов, кто-то из нас начал отвечать, крикнув перед этим шампанского.

И пошла попойка, и пошли речи!

Чего уж тут ни говорилось, каких тостов ни предлагалось...

– Куда ж, господа, после обеда? – спрашиваем друг у друга, когда кофе с достаточным количеством рюмок коньяка было выпито.

– В театр пойдём...

Шумной большой ватагой все отправились в театр и вернулись на корвет с рассветом.

Дня через два после прихода корвета в Брест отпустили и команду на берег... «Первая вахта на берег!» – скомандовал после обеда боцман Никитич...

Довольные, что наконец вернутся с судна на землю, пошли одеваться матросы. Скоро они вышли наверх в чистых щегольских рубашках, причесанные, с несколько отмытыми смолистыми руками.

– Смотри, ребята... держись одной кучки, – говорил кто-то человекам пяти матросам, – чтобы вместе везде... И в кабак вместе... и гулять вместе.

– Афанасей... сколько у тебя франков? – спрашивает Макаров Афанасия.

– Два... брат...

– Дай пол-франока...

– Зачем?

– Дай, говорю...

– Да зачем?..

– Пропить...

– Пропить?

– Говорят, пропить... нешто не слышишь?

– А я-то что? Нешто уж и я не человек?

– С тебя хватит.

- Не дам, Макаров, я тебе пол-франока...
Лучше вместе пойдём... угощу.
- Смотри, Афанасей, угости...
- Сказано, пойдём... Погуляем... Только держись, – и Афанасий даже языком прищелкнул от будущего удовольствия.
- Вы, ребята, наперво куда?.. – спрашивает один матрос товарищей.
- Мы, братцы, в лавки...
- Что покупать?..
- Надоть рубаху... Вот Федор тоже штаны хочет торговать!..
- Купи, братец, мне нож!
- А вы-то что сами?..
- Мы в кабак... Гуляй, значит, душа...
- Так тебе нож купить?..
- Купи, ребята, кто-нибудь...
- А деньги?..
- Да ведь вы в лавки?..
- Ну...
- Пить не станете?..
- По шкалику рази...
- А я, значит, гуляю... все пропью...
- А нож?
- Купи на свои... Опосля отдам, потому те-

перь я гуляю... А вы, значит, в лавки...

Боцман Никитич надел тонкую рубаху с батистовым передом, щегольски повязал черный шелковый галстук с длинными концами; на грудь повесил свою дудку на серебряной цепи, шапку лихо надел немного на затылок и вышел наверх, держа в руках носовой платок, который между прочим он взял более для форсу, ибо и при платке он по привычке сморкался классически, т.е. с помощью двух пальцев.

– Гляди, ребята... боцман-то... раскуражился...

– Форсит... неча сказать...

– А ведь упьется?..

– Звестно упьется. Кажинный раз в лежку привозят...

Никитич беседовал с «чиновниками», с фельдшером, писарем и другими унтерами, с которыми вместе собирался ехать на берег...

Франт наш фельдшер все упрашивал сперва по улицам гулять.

– Или, Степан Никитич, – вмешался писарь Мухин, – в сад пойдете гулять... Верно, в городе сад есть. Нельзя без саду...

– Да што в саду-то? – говорит Никитич.

– Все же благородное развлечение.

– По мне в трактир сперва...

– В трактир после сада...

Однако Никитич не соглашался... И другие унтера не соглашались.

– Иван Васильич, – обратился фельдшер к Мухину, когда боцман и унтера куда-то пошли, – пойдёмте гулять одни. Что с ними гулять!..

– Конечно, Иван Абрамыч...

– Они никаких чувств не имеют... Только бы им напиться. Известно, матрос!..

– И еще пристыдят нас.

– А мы, Иван Васильевич, благородно погуляем, зайдём в лавки, а после в театр... мы ведь не они...

– А в сад?..

– И в саду погуляем...

Писарь и фельдшер решили отделиться от Никитича и время провести более благородно, чем проведет его Никитич с компанией.

«Левка-разбойник» был мрачнее обыкновенного. Он всегда был мрачен перед тем, что напивался. В раздумье ходил он взад и вперед

по баку и изредка щупал свои четыре франка, спрятанные в кармане. На его лице явилась самая презрительная улыбка, когда он услышал разговор писаря с фельдшером. Он быстро вскинул на них глаза и потом так же быстро опустил их и только сказал: «сволочь».

Леонтий резко отделялся от прочих... Постоянно молчаливый, угрюмый, особняком сидел он за какой-нибудь работой, и хорошо, легко как-то спорилась работа в его могучих, крепких руках... Говорил он с другими мало, да и вообще с ним, зная его суровый нрав, редко кто и заговаривал... Относились же все к нему с уважением, а боцман даже с некоторым заискиванием, потому что Леонтий был золото-матрос из баковых... Бывало, крепит парус в свежий ветер, так любо глядеть на него, бесстрашного, вечно спокойного, не суетящегося, разумно и толково делающего дело...

– Угрюмый человек! – говорили про него матросы.

– Чудак, – говорит боцман, но побаивается Леонтия, потому Леонтий шутить не любит, а коли обидят его понапрасну, то он обиды не

стерпит.

На корвете Рябкин водки не пил. Он, кажется, мало ее пить не любил... Зато на берегу пил до беспамятства и сильно буйствовал. Почти всегда на корвет привозили его мертвецки пьяным и со шлюпки подымали на веревке.

Еще мрачнее, еще суровее на другое утро бывал Леонтий и, будто совестясь, не подымал глаз, если кто из начальства с ним заговаривал...

Офицеров, что с матросами заводили разговоры от нечего делать, Леонтий не любил... Я это знал и, несмотря на все мое желание узнать кое-что о его прошлой жизни, самого его никогда не спрашивал, будучи уверен, что он и мне ответит так же, как ответил одному из корветских офицеров.

– Что ты, Рябкин, все скучаешь? – спросил его однажды один мичман.

Леонтий только вскинул глазами и продолжал строгать блочек...

– Что, скучно по Кронштадту, что ли?..

– А вам от этого легче станет, коли я скажу, ваше благородие?

– Я так... узнать хотел...

– Нечего и узнавать, ваше благородие, – угрюмо отвечал Леонтий, и мичман отошел прочь.

Леонтий был прямой человек и фальши в других терпеть не мог... Сам обид не переносил и других никогда не обижал. Напротив, молодых матросов из рекрут защищал всегда от нападок и глумлений старых.

Живо запечатлелась у меня следующая сцена.

Вошли мы в Немецкое море [11]. Ветер был изрядный, качка сильная... Некоторые из матросов, впервые попавшие в море и не успевшие еще привыкнуть ко всем суровостям морской службы, струхнули порядочно... Один из рекрутов, – молодой такой, славный матрос лет двадцати, с необыкновенно симпатичной физиономией, – сидел, прижавшись к баркасу, и, бледный, печальный, со страхом глядел на высокие волны, что, словно горы, подымались сбоку и будто залить хотели совсем корвет...

– Что, ватрушка олонецкая?.. Чай, теперь и маменьку с тетенькой вспомнил, – глумился

над ним Куличков, матрос из кантонистов.

[12] – Что, трусишь?

– Страшно... Волна вздымается-те как... И
нутри мутит, – оправдывался новичок...

– Эх, баба ты!.. Вот я боцману скажу... он те-
бя на марс пошлет. Там те растрясет.

– Не трожьте, дядя!..

– Ну, дай чарку за тебя.

– Пейте, что теперь водка...

– Я те дам водки, шкура ты барабанная,
учебная крыса... Что молодого обижаешь?..
Смотри, Куличков!..

И сказавший это Леонтий так взглянул на
Куличкова, что тот только пробормотал:

– Я ведь шутю...

– Так впредь не шути!.. А ты чего спужался,
матросик, аль страшно?.. Привыкнешь, паря,
обтерпишься, – ласково вдруг заговорил Ряб-
кин.

– Противно мне... море-то... дядя...

– Зови меня, матросик, Левонтьем. Какой я
тебе дядя? А что противно, так оно всякому
спервоначалу-то противно...

– Тяжело терпеть, Левонтий, – грустно ска-
зал Василий.

– А что?

– Тоже жалко своих... мать-то... как, и опять Апроська... первой год женился.

Василий безнадежно махнул рукой, а Леонтий ласково глядел своими выразительными глазами на молодого рекрута и немного погодя сказал:

– Ты, Вася, коли что там с работой не справишься, у меня спроси... Да не робей, брат. А кто обижать захочет, спуску не давай... Что, аль опять мутит?..

– Мутит, Левонтий, – как смерть бледный, отвечал первогодок-матрос...

– Пойдем, брат, сухаря съешь...

И он заботливо свел матроса на палубу.

Потом Леонтий так привязался к молодому матросу, что обида Василию была и ему обидой. словно нянька ходил он за ним, и через два месяца из него вышел такой лихой матрос, что Леонтий, глядя, бывало, как Василий бесстрашно крепит брамсель в свежий ветер, улыбался, и лицо его светлело.

Леонтий мало говорил с своим любимцем на корвете. Он разговора не любил, но на деле показывал привязанность своей любящей на-

туры и ласково выслушивал нехитростные воспоминания молодого матроса, даже сочувственно улыбался, когда молодой матрос так порывисто, так горячо рассказывал о молодой Апроське.

Под пьяную руку Леонтий был словоохотливее.

На берегу он был всегда вместе со своим фаворитом, но пить его не приучал.

– Што толку-то в ней... в эфтой водке-то; не пей, Вася, никогда не пей... Гадость она!.. Не с добра ее пьют, – угрюмо говорил Леонтий и залпом выпивал стакан крепкого спирта.

Как попал Леонтий в рекруты, об этом в подробности не знал никто. Знали только, что он пошел из дворовых. Да еще молва по корвету ходила, будто любвишка какая-то скрутила Леонтия, что прежде он не такой был.

Случай привел меня узнать кое-что про его прошлое от него самого же в одном из брестских кабаков.

Знаете ли что, читатель! Много, очень много тяжелого и трагического подчас бывает в жизни матроса.

С виду, кажется, благоденствует матрос – и сыт, и одет, будто и весел, песни по вечерам поет, а взгляните поглубже, прислушайтесь иногда темной ночью, сидя на вахте, как какой-нибудь молодой матрос про свою деревню рассказывает, или как старик-матрос клянет идола экипажного командира, от которого он просился на три года в «дальнюю»... «безвестную»...

Не всякому русскому матросу радостно дальнейшее плавание. А он и туда даже сам иной раз просится... Знать, уж больно солоно пришлось от чего-нибудь. Одного жена безжалостная погнала в «дальнюю»... «Скопи мне, мол, денег»... Другого, какого-нибудь безответного, били да пороли до того, что даже и терпеливый русский матрос не стерпел и пошел проситься в «кругосветку», надеясь, что в плавании легче будет...

И терпит все матрос. И бурю терпит, и ветер и дождь терпит... И работает он трудную работу, крепит, качаясь над океаном, паруса в свежую погоду; не досыпает ночей; вечно находится в опасности... И сносит все это он, и только вымещает накипевшую досаду на

водке, да разве в песне у него из груди вырвется иногда такая надрывающая нотка, что насквозь проберет иного любителя русских песен.

Я был назначен в Бресте ехать с людьми на берег.

– Сажай-ка людей на шлюпку, – сказал я боцману.

– Ну, живо на шлюпку... Вались, кто на берег! – скомандовал Никитич.

Скоро полон-полнешенек баркас отвалил от борта. Только что пристали к пристани, матросы бросились из шлюпки и пошли гулять.

Наполнились кабаки, оживились... В какой-нибудь французской бюветке [13] русский матросик закатывает, лихо упершись рукой в бок: «Вниз по матушке по Волге», а другие подтягивают и постукивают стаканчиками. Слушают французские солдаты русскую песню, спьяна восхищаются и лезут целоваться. Матрос не прочь целоваться (он уже сам пьян) и велит подать еще водки...

И пьют и галдят матросики...

– А я не спущу, не спущу ему, – вопит Мака-

ров, на счет Афанасия угостившийся, – потому он не смеет драться. За что ж?.. Посуди ты сам, Афанасей... И рази он смеет?..

Афанасий не понимал, в чем дело, однако отвечал:

– Шиби... и ты – чертова голова – шиби!..

– Давай, Афанасей, шибить!..

И они расшибли два стаканчика.

– Есть в тебе... што ли, совесть? – допрашивал один матрос.

Француз только моргал глазами...

– Ну и пей, французская морда! Пей, не куражься!..

И матрос сует французу целый стакан гоголого спирта.

Тот в испуге таращит глаза.

В небольшой кофейной сидят за столом Леонтий и Василий.

Я вошел и сел в сторонке, друзья меня не заметили.

– И полюбил я тебя, Вася... Потому видел... душа в тебе... Без души человек што!.. И знаешь, што я тебе скажу?.. Так я и Сашку-варварку полюбил... Была в ей душа!..

Леонтий остановился.

– Повадился ходить к ей... Вижу, не противен... меня слушает, – я и решил... «Пойдешь, говорю, Сашка, за меня замуж?» Удивилась... посмотрела так на меня... «Не могу, говорит, Леонтий Иваныч. Хоша, говорит, я вас почитаю, но и приверженности настоящей нет, – я к другому имею приверженность!»

– Ишь ты! – воскликнул молодой матросик.

– Кто же этот злодеи, скажи ты мне, говорю, чтобы я ему скулы своротил!.. Такая это меня злость взяла. – «Не скажу, говорит...», а сама так листом трясется, потому видит злость эту мою. – Скажи да скажи, – пристал я к ней, – ничего, мол, не сделаю!.. – «Лексеев, – отвечает, – фершал девятого экипажа! Вы, Леонтий Иваныч, бережите, говорит, слово, а то грех...» Что мне грех... коли все нутро ест! Ушел это я от нее, да в кабак... Оттель к фершалу и давай его бить... И бил я его... бил плюгавого фельдшеришку, поколь сердце не отошло. Замертво оставил... Выдрали меня и разжаловали... был я, брат, и унтером! – усмехнулся Леонтий. – И стало мне легче быдто, как я спакосничал Сашке-то... Опосля

встретил это я ее на улице... Она отвернулась и плюнула, а мне – словно бес радуется какой. «Видели, говорю, вашего миленького?.. жив, что-ль, еще?..» Ничего не ответила, словно от чумы прочь пошла... Через год ушел я из Кронштадта. Опоскудела жисть-то.

Левка вдруг вытянул свою могучую руку и что есть силы хватил по столу. Зазвенели на полу стаканы... Подлетел гарсон... Леонтий достал франк и швырнул гарсону.

Скоро Рябкин был совсем пьян и ровно сноп повалился на пол...

– Вяжи меня, Вася, вяжи... не то убью! – кричал он.

Подошли еще матросы с улицы. Леонтия связали, положили в шлюпку и на веревке подняли на корвет...

Кричал он целую ночь; грозился кому-то, говорил, что правды на свете нет и матрос безвинно терпит. Наконец он заснул. Наутро, проснувшись, он целый день ни с кем не говорил.

Впоследствии Рябкин спился совсем, и, когда корвет пришел в Николаевск-на-Амуре, его списали с корвета и перевели в Сибирь-

ский экипаж.

После этого я еще раз видал Леонтия. Сказывали мне матросы, что пьянствовал он шибко... И драли его шибко, да розги его не брали. Выпорют его, – он встанет и снова пьет; все пропивает...

А корвет уже готовился оставлять Брест... Первого декабря 1860 года он был совсем готов к уходу, и после полудня, отсалютовав крепости, выходил с рейда, чтоб идти далеко-далеко и долго не видеть Европы.

Первые дни океан не пугал. Погода стояла отличная. Одно худо: противный ветер заставлял лавировать и подвигаться миль по тридцати в сутки. Океанская качка уж и не беспокоила никого. Качка Немецкого моря приучила ко всем качкам.

Но вот 10-го декабря заревел ветер... И пошел аврал. Раздался свисток и вслед за ним зычный боцманский окрик:

– Пошел все наверх третий риф брать!

Ветер не шутит. Заревел он на просторе и застонал в снастях.

Океан словно рассердился, – вспенился. Забурлил и гонит высокие волны, седые гребеш-

ки которых бешено разбиваются в серебристую пыль о бока корвета.

Словно птица морская летит корвет... Нет ему препятствия... Грациозно, легко подымается он на волнистую гору и снова опускается, имея ее уже за кормой... Только дрожь какая-то идет по всему судну, да дух захватывает у непривычного, если за борт посмотреть... Одна пена, густая пена сердито клокочет сбоку.

Словно бешеные, бросаются матросы наверх... Рассыльный врывается в кают-компанию, «всех наверх», говорит, и сам летит наверх. Все бежит сломя голову... Для не моряка показалось бы, что судно ко дну идет... такая суматоха.

Андрей Федосеич, старый лейтенант, из породы таких, которые любят матроса и в то же время не прочь его побить, несется на бак, на лету надевает пальто и еще со шканец кричит, простирая руки к небесам: «на местах стоять!», не замечая в усердии к службе, что все на местах стоят...

Все идет хорошо... Обезьянами взбежали матросы по марсам и расползлись по реям.

Работа у них кипит... Они делают свое трудное матросское дело и изредка промеж себя без всякой злобы переругиваются.

Офицеры стоят внизу, и от нетерпения многих словно трясушка берет. Они покрикивают, да подчас в припадке служебности и прошипят сквозь зубы: «Петров... ах ты...», но фразы не доканчивают, ибо недавно только что приказ капитанский вышел, запрещающий к службе не идущие окончания.

Крепят паруса и... о ужас! У фок-мачты одна веревочка, махонькая такая веревочка, нейдет... Уж Андрей Федосеич простер к небесам руки, но пока еще крепится. И только в безмолвии кажется изрядный кулак на марс... А веревка, чтобы ей пусто было, словно нарочно нейдет.

В этот-то злосчастный момент – момент, многим морякам знакомый, раздается крик:

– На баке! Что делают?.. Отчего снасть не идет?..

Андрей Федосеич напускается на Никитича.

– Ну, уж и боцман!.. Чего смотришь?.. Смотри, смотри же! – пустил Андрей Федосеич

fortissimo [14].

Наконец терпение Андрея Федосеича лопа-
ется, и он шумно забывает недавний приказ
об окончаниях, к службе не идущих.

Никитич только сплюнул на сторону и
сам, по окончании выговора, стал ругаться
направо и налево (больше для очистки сове-
сти), выделявая такие замысловатые и чисто
артистические вариации на тему поминания
родственников, которые, конечно, незнакомы
сухопутному жителю и в которых моряки до-
шли до виртуозного совершенства.

Изругав родственников и ближайших зна-
комых и унтер-офицера Матвеича, что под ру-
ку подвернулся, ни в чем неповинного в вере-
вочке, Никитич снова сплюнул и засвистал
по-соловьиному в дудку.

Матвееву, в свою очередь, захотелось на
ком-нибудь потешиться. «За что мне-то попа-
ло!» Он взбежал на марс, дал незаметного
стрекача молодому матросу Гаврилке, винов-
ному, что не шла снасть, и, сорвав таким ма-
нером сердце, незаметно же сошел вниз.

Почесался Гаврилка... Нельзя было сорвать
ему сердце на предмете одушевленном (а уж

как хотелось!), и он сперва выругал на чем свет стоит бедную веревку и только тогда ее раздернул.

– А ты что драться лазил? – замечает Андрей Федосеич.

– Согрешил, ваше благородие, просто сами на грех наводят.

– Согрешил... Ах ты, подлая шкура, – сурово замечает стоящий сбоку Леонтий.

– Ты, смотри, не драться... А то просушу... Слышишь?

– Да помилуйте, ваше благородие. Я-то что же один терпеть буду? – жалобно говорил Матвеев, – меня ж обфилатели... а я уж и не смей... Они за все подводят.

– Нну... Терпи!

– Не стерпишь, – под нос себе ворчит унтер-офицер и уходит.

Но, увидев, что Андрей Федосеич ушел, он не мог удержаться (так велика привычка), чтобы не показать отошедшему Гаврилке хоть издали кулака; потом подошел к нему и сказал:

– А уж ты, швандырь окаянный!.. Смотри!.. Скажи, варвар ты этакой, за тебя я нешто от-

веты принимать должен? Погоди, голубчик... усахарю...

– Чего усахаришь-то?

– Ужо припомню, – шипит змеей унтер-офицер, – припомню, голубчик, припомню, лентяйка вологодская... припомню.

– Ну, чаво вы пристали-то... Матвеич?

– Не разговаривать! – крикнул офицер и обернулся.

Матвеев юркнул за мачту.

– Что, брат, – с участием тихо шепчут Гавриле другие матросы, – отошло?

– Отошло, братцы, – говорит Гаврила, махнув рукой, и идет снасть тянуть.

– Андрей Федосеич!.. Андрей Федосеич!.. Посмотрите, ради бога, – кричит шканечный офицер, – контра-брас у вас не тянут!..

Голос и лицо этого офицера выражают такую искреннюю грусть и такое отчаяние, что не моряк подумал бы, что он о пособии просит, говоря, что, мол, малые дети с голоду умирают. Но моряк в душе, конечно, поймет все это отчаяние и грусть...

Рифы взялись благополучно... «Подвахтенные вниз!» – скомандовал старший офицер.

Матросы «невахтенные» тоже сошли на палубу.

– Уж как ты, Гаврилка, прозевал... просто не знаю... Трес я тебе, трес снасть-то... ровно ослеп ты, право.

– Какое ослеп... видать-то видал я, что надо ее раздернуть, да думаю... сама, подлая, раздернется... а она, каторжная, и не раздернулась... Под марсом, выходит, заело... Как не заметить-то! – поясняет Гаврилка. – А уж я Матюшке-подлецу не спущу... Съездил... хоша и не больно, а съездил... Еще, говорит, припомню... Ишь, раскуражился!

– Ну его к богу, Гаврилка... Ишь толчки считать вздумал.

– Ужо съедем на берег... взмылю его... право, взмылю...

– Ну уж и взмылишь... врешь!

– А нешто не взмылю. Хайло ему начищу!

– Ты что тут раскричался! – замечает боцман, проходя мимо.

– Да как же, Никитич... за что Матвеев обидел понапрасну... Ныне и господа не дерутся, а тут всякой в рожу лезет, ровно в свою.

– Ну, говори!.. Что ж и не лезть!.. С вашим

братом иначе нельзя. Надо когда и в рожу.

Тем и кончилось все дело.

Скоро забылись неприятности авральной работы, и по всем уголкам палубы пошли разговоры... лясы матросские...

Гаврила уже рассказывал, как он проводил в отпуску время... Около него составился порядочный кружок.

– Ты, Гаврилка, сказывай, как ублажали-то тебя... в деревне, когда на побывку ходил.

– Известно... ублажали... Потому рази матрос – солдат... Солдат что? Только и знает делов, что «на плечо», да «на караул», да «здравия желаем»... а ты теперь сумей брамсель крепить да лот кинуть... И нешто понимает он, что такое лот?.. Опять не понимает, потому солдат, и где ему это понять?.. Пришел я, братцы, в село накануне самого Миколина дня [15]... Прямо вошел в избу... Почали ахать да охать... Ох, Гаврилко, да какой ты, говорят, куцый да поджарый стал... ровно тебя не кормили, говорят, долго... Мать сдуру в слезы... Бабье и ну реветь... Не кормили да не кормили... Одначе что с ними делать станешь – известно, деревня! Сходил я, братцы, в баню –

знатно выпарился, опосля наелся и лег спать... Наутро в церкву... Как есть в новом казакине, при медали... Ну, известно, почет... Девки на тебя глядят... ребятишки за тобой бегут: «кавалер да кавалер»... Опять наелся до отвалу и выпил... Стали спрашивать и дивиться... «Ты скажи да скажи, Гаврилка, как это там у вас на море?» – Известно, говорю, на море как... Теперче выдет, говорю, приказ собираться в кампанию... Возьмешь, говорю, свои потроха и переберешься на корабль... Ну, известно, дивуются... «Как, говорят, на корабле-то?» – Ну, скажешь, как на корабле. Порядок, скажешь, и ежели ты какую снасть теперче не отдал, либо не раздернул – бьют, сказываю. – «Бьют нешто за веревку?» – спрашивают. За все бьют, и ежели, говорю, ты не выскочил, когда всех наверх засвистали... опять же бьют!.. И поднялся, братцы мои, мужицкий хохот!.. «Как, говорят, свищут?» – Ну, сказал им. Так, мол, и свищут... «А што, страшно, спрашивают, на окияне?» – Говорю, не был я на окияне, а што в море, говорю, страшно, опять потому, когда штурма бывает... Так, братцы, сперва просто мочи не давали... Все

ты им скажи да Расскажи... И какое-такое море, и как ветер в паруса дует, и часто ли тебя порют, и как офицеры живут... Ну, опосля перестали спрашивать... И пошла же мне, братцы, жисть... Потому лежи себе.

– А бабы?..

Тут Гаврилка только усмехнулся.

А в другом уголке старик рассказывал об одном матросе, который на линьки «был снослив».

– Драли его часто... Да не брало уж... Бывало, дадут ему с сотню, а он оденется да и спрашивает, и так это спрашивает, словно и не дран: «а что, братцы, скоро обедать-то?» Капитан узнал, значит, об эфтом, и бросили его драть.

– Заговор какой знал... – замечает молодежь.

– Небось, с чертом связался!.. Эх, дуралье!.. Просто шкура пообилась! – замечают старые.

И в таком роде шли беседы далеко на океане...

И хотя ветер не стихал, и хоть корвет сильно качало, однако все это не мешало и в уют-компании одному из товарищей наших

играть на фортепиано, а другим преспокойно слушать, вовсе не думая ни о ветре, ни о качке. Конечно, кто был на вахте, тому было скверно... а кто внизу – что тому, кроме разве скуки?..

Дня через три стих ветер. Развели пары, и корвет взял курс на Мадеру.

1864

Эспланада – здесь: незастроенное пространство между крепостью и ближайшими городскими постройками.

[^^^]

2

Брест – город и порт на западном побережье Франции.

[^^^]

Киль – немецкий город и порт, расположенный у входа в Кильский канал со стороны Балтийского моря.

[^^^]

4

Бревзен – правильно: Грейвзенд – город на восточном побережье Англии.

[^^^]

5

Жако – правильно: жабо (*франц.*) – полотняный стоячий воротник мужской сорочки, выходящий из-за галстука по обе стороны; так называются и кружевные или кисейные оборки на груди сорочки у ворота.

[^^^]

6

Сертификат (франц.) – удостоверение, письменное свидетельство.

[^^^]

«ПЯТЬ, ШЕСТЬ...» (франц.)

[^^^]

8

Месье... будьте уверены... Франк – дюжина...
(франц.)

[^^^]

Да, да!.. (франц.)

[^^^]

еще полфранка (*франц.*)

[^^^]

Немецкое море – другое название Северного моря.

[^^^]

Матрос из кантонистов. – Кантонист – так в крепостной России называли солдатских и матросских детей, с самого рождения прикрепленных к военному ведомству и воспитывавшихся в особой школе; по ее окончании их обычно на 20 лет зачисляли на военную службу.

[^^^]

Бюветка – небольшой трактир, буфет (*франц.*).

[^^^]

очень сильно (*итал.*)

[^^^]

15

Миколин (Николин) день – празднуется 9 мая и 6 декабря по ст. стилю.

[^^^]